

Глава X. Последние годы

“ Я не чувствую в себе уже нужных сил, а может, и нужной веры, чтобы продолжать катить Сизифов камень...

М. Бакунин

Доклад Гаагского конгресса об «Альянсе» был опубликован в конце сентября 1872 года в брюссельской газете «Либерте». Появление его вызвало протест среди части русских эмигрантов. 4 октября протест этот был опубликован той же газетой. Подписали его Николай Огарев, Варфоломей Зайцев, Владимир Озеров, Арман Росс (Сажин), Владимир Гольштейн, Замфирий Ралли, Александр Эльсниц, Валериан Смирнов.

«Вы просите у меня сведения о лицах, подписавших смехотворную реабилитацию Бакунина в „La Liberté“, — писал по этому поводу Утин Марксу. — Первый — Николай Огарев — должен быть Вам известен — это друг детства и политический единомышленник Герцена,... в настоящее время он уже несколько лет страдает эпилепсией, полусумасшедший, почти идиот...

Второй — Владимир Озеров — один из наиболее подлых негодяев в Альянсе; он был адъютантом Бакунина во время его лионской кампании.

...Ралли, Смирнов, Эльсниц, Гольштейн — молодые люди, бежавшие из Москвы и Петербурга, потому что они были замешаны в деле Нечаева».[505]

Эти оценки, данные Утиным, лишний раз характеризовали лишь его самого и его способ дискредитировать противников по идейной борьбе.

Но что же в действительности представляли собой те русские, о которых, еще будучи политическим деятелем, писал Утин Марксу? В. Гольштейн, В. Смирнов и А. Эльсниц — студенты-медики, исключенные в 1869 году из Московского университета за участие в студенческом движении, — летом 1871 года приехали в Цюрих для продолжения медицинского образования. Враждебно относясь к Нечаеву, они первое время избегали и знакомства с Бакуниным, но затем, узнав о разрыве между ними, сблизилась со старым революционером. Однако Смирнов, ранее других познакомившийся через Сажина с Михаилом Александровичем, вскоре отошел от него, присоединившись к П. Л. Лаврову.

Одним из наиболее близких Бакунину в последние годы людей был Михаил Петрович Сажин, выступавший под псевдонимом Арман Росс. Был он выходцем из разночинной среды, воспитанным, но его словам, «исключительно на Н. Г. Чернышевском». Учился он в Технологическом институте, принимал участие в студенческом движении. Ссылку отбывал в

Вологодской губернии. В 1869 году бежал оттуда в Америку, где в течение года работал на разных заводах. Получив в 1870 году письмо от своего друга В. Серебренникова, приглашавшего его для революционной работы с незнакомым еще ему Нечаевым, он отправился в Швейцарию. Приехал он туда в мае, то есть в момент разрыва между Бакуниным и Нечаевым.

Сотрудничества с Сергеем Геннадиевичем в этих условиях он не установил, так как приемы борьбы, предложенные Нечаевым, не устроили его, с Бакуниным же, напротив, он вскоре вступил в дружеские отношения.

«Меня и раньше постоянно занимал вопрос, как устроить жизнь человека, людей вообще, чтобы они пользовались полной свободой, чтобы вполне были гарантированы от всяких насилий: социальных, экономических и политических, — писал он в своих воспоминаниях. — И вот здесь, в Женеве, я снова натолкнулся на этот вопрос и узнал, что Бакунин — страстный поклонник свободы человека. Это меня сразу к нему повлекло».[506]

Революционная работа увлекла Сажина. Вскоре он вошел в Юрскую федерацию Интернационала, а когда в Париже была провозглашена Коммуна, отправился туда. Бакунин, скептически настроенный в отношении успеха Коммуны, внутренне был против этой поездки.

«Если б зависело от меня, — писал он Огареву, — я б ни Росса, ни дю Ляка (Ланкевича. — П. Я.) не пустил бы в Париж... Но я уважаю свободу друзей и, раз убедившись, что решение их ехать непреклонно, не перечу. Росс уже уехал. Боюсь, чтобы он не попал в неприятельские лапы, прежде чем попадет в Париж. Сукины дети разъярены теперь против всех иностранцев...»[507]

Но опасения Бакунина не оправдались. Сажин пробыл в Париже до июня, после чего вернулся в Цюрих. Здесь с 1872 года он стал активным участником русской секции «Альянса», которую Бакунин основал в апреле этого года.

О моменте создания секции в дневнике Михаила Александровича есть следующая запись: «26 (апреля 1872 года): объяснение между Гольштейном, Эльсницем и Ралли; 27: союз заключен; 1: читал программу и устав с русскими; последний вечер с русскими; составил словарь (условный шифр); 4: все мои русские уехали».[508]

Замфирий Константинович Ралли, сразу же вступивший в эту секцию, последние годы, так же как Сажин, состоял в близких отношениях с Бакуниным и, так же как Сажин, оставил свои воспоминания, помогающие восстановить многие моменты жизни Михаила Александровича.

Замфирий Константинович был сыном бессарабского помещика. Учился он в Медико-хирургической академии в Петербурге, участвовал в студенческом движении, был в те годы связан с Нечаевым. Арестованный в марте 1869 года, он дал «откровенные показания» о своих связях и знакомствах, после чего в 1870 году был освобожден на поруки бессарабского предводителя дворянства. В июле 1871 года, получив разрешение поступить в Дерптский ветеринарный институт, отправился за границу, в Швейцарию, где, снова

встретившись с Нечаевым, поддерживал некоторое время отношения с ним, в то время как другие русские эмигранты сторонились даже знакомства с этим человеком.

Известная близость с Нечаевым чуть не привела к разрыву только что установившихся отношений Ралли с Бакуниным. Михаил Александрович «более нежели грубо заявил мне, что он ставит непременно условием продолжения нашего взаимного знакомства полный мой разрыв с Нечаевым».[509] Недоразумение скоро выяснилось, так как Ралли симпатизировал системе взглядов Бакунина и отрицал нечаевские методы борьбы.

Составив русскую группу, Бакунин направил молодых людей из Локарно в Цюрих, где они должны были приобрести типографию и начать печатание пропагандистской литературы, с тем чтобы переправлять ее в Россию. Деньги на типографию внес каждый из членов группы, «прескверную, — по словам Ралли, — ручную типографскую машину» сделал Росс. Вокруг нового дела образовался кружок главным образом из русских девушек-студенток, в котором более других своим умом и активностью выделялась Софья Николаевна Лаврова — приемная дочь Н. Н. Муравьева-Амурского.

Помимо типографии, в Цюрихе создали и библиотеку-читальню, объединившую почти все (120 человек) проживавшее там русское студенчество.

Однако между сторонниками Бакунина, а главным образом между Ралли и Россом, вскоре начались трения. По мнению Бакунина, Росс обладал практическими способностями и должен был руководить типографией. Но Ралли отрицал за ним деловые качества и сам хотел возглавлять русскую пропаганду в Цюрихе.

Осложнения отношений между немногочисленными членами так называемого «Русского братства», необходимость выяснения возможностей издания нового журнала совместно с П. Л. Лавровым требовали личного присутствия Бакунина.

Но, как всегда при полном безденежье, он не мог сразу оставить Локарно.

9 февраля 1872 года Антонина Ксаверьевна писала Огареву:

«Николай Платонович. Нужда теснит нас. Хозяйка отказала б нам в квартире, если б мы не выплатили к 8 февраля ...317 фр. Мы были вынуждены сделать заем в 300 фр., и в конце февраля мы должны выплатить эту сумму в здешний национальный банк, иначе у нас опишут все наши вещи. Николай Платонович, вы легко поймете мое отчаяние... Семья моя далеко. Мишель не имеет никаких средств, у меня двое маленьких детей.

Николай Платонович, вы старый друг Мишеля, постарайтесь помочь нам, спасите нас от горького стыда описания нашего бедного имущества. Отвечайте, отвечайте скорее ради всего, что есть для вас святого».

Очевидно, Огарев не сумел достать и выслать денег, потому что 18 февраля Антонина Ксаверьевна писала ему вновь: «Николай Платонович. Не сейчас отвечала вам потому, что мне грустно было; не знаю, как, но я имела надежду, что вы успеете помочь нам. Ошиблась. Простите беспокойство, бесполезную тревогу, причиненную Вам... Ничего не пишите о моем

письме Мишелю. К чему!.. Не нам первым, не нам последним познакомиться близко с настоящей нуждой».[510]

Антонина Ксаверьевна начала хлопотать о разрешении ей с детьми навестить стариков родителей в России. Разрешение, как ни странно, было дано, и 30 июня 1872 года она выехала из Локарно.

Проводив семью, Михаил Александрович записал в своем дневнике: «Разлука, на сколько? на год? навсегда?»

Теперь ничто не связывало его с Локарно, и он отправился в Цюрих. Здесь Михаил Александрович поселился на квартире, снятой несколькими студентами, которые и отвели ему лучшую комнату с пианино. По вечерам кто-нибудь из молодежи или сам Бакунин играли любимую им Патетическую симфонию Бетховена или увертюру из «Тангейзера». Молодежь вообще окружала Бакунина вниманием. По свидетельству живущей тогда в Цюрихе студентки Е. Ель, особенно услуживали ему дамы. Они «готовят своему старику яичницу на спиртовой машинке, его обшивают и занимают для него деньги направо и налево».[511]

Еще до приезда Бакунина в Цюрих туда прибыл Петр Лаврович Лавров — один из крупнейших теоретиков русского революционного народничества. После бегства из вологодской ссылки он жил в Париже, затем ездил в Лондон, где познакомился с Марксом и Энгельсом, а также с деятельностью Интернационала. Наблюдение за общественной жизнью на Западе убедило его в наличии непримиримых классовых противоречий, в реальности там почвы для социального переворота. Задачи же русского движения видел он в постепенной подготовке социальной революции путем «развития научной социологической мысли в интеллигенции и путем пропаганды социалистических идей в народе».[512]

Росс, знакомый с Лавровым еще по вологодской ссылке, и другие друзья Бакунина решили попытаться основать с Лавровым совместное издание для революционной пропаганды в России. Лавров составил примерную программу, с которой Росс и отправился в Локарно. Бакунин встретил это предложение отрицательно. Взгляды Лаврова его не могли устроить. «По его мнению, — сказал он Россу, — государственность вообще начало прогрессивное и все зависит от того, в какие руки попадет. Даже III отделение, если и худо, то только потому, что находится в плохих руках».[513]

Росс уехал обратно, увозя ответ Бакунина женевским товарищам.

«Друзья мои, — писал Михаил Александрович, — получил и прочел присланную мне программу; воля ваша — ее принять никак невозможно... В программе говорится слишком много о необходимости серьезной научной подготовки... для революционера. Что ж это, неужели мы задумали устроить за границей университет? Дело хорошее, спору нет, но только это не наше дело, пусть его устраивает полковник Лавров, а я пока что займусь революционным делом, которое не к лицу доктринерам. Я ничего не отвечал Петру Лаврову на его любезное приглашение, потому что если бы ответил, то написал бы, что удивляюсь

эластичности его ума, а он бы обиделся, и вышло бы нехорошо. Полагаю поэтому, что у нас ничего не выйдет, во всяком случае прошу вас, друзья, напишите мне все подробности ваших переговоров, чтоб я знал все, что нужно знать».[514]

Друзья просили его приехать для переговоров в Цюрих, а Лавров в это время подготовил другой вариант программы.

Личная встреча двух лидеров движения не принесла успеха делу. Соглашения между ними не состоялось.

С этого времени в русском движении, как в эмигрантских кругах, так и затем в России, между лавристами и бакунистами началась идейная борьба.

В Цюрихе, по словам В. Н. Фигнер, среди русской молодежи большинство симпатий было отдано Бакунину. «К личности Лаврова относились с почтительностью, но при этом не было ни теплоты, ни горячности. Другое дело — Бакунин. Его, как неукротимого борца-революционера, а не мыслителя, лелеяли мы в своей душе. Он, а никто другой, возбуждал энтузиазм, и в общем можно сказать, что все мы... были антигосударственниками в смысле бакунистском и увлекались поэзией разрушения в его листках и брошюрах. Под влиянием его статей мы верили в творческие силы народных масс, которые, стряхнув могучим порывом гнет государственного деспотизма, создадут самопроизвольно на развалинах старого строя новые, справедливые формы жизни, идеал которых инстинктивно живет в душе народа».[515]

Вот эти-то идеи Бакунина и стали популярны в русских революционных кругах.

Широкое распространение их среди революционной молодежи началось после появления в России книги Бакунина «Государственность и анархия» (осень 1873 г.) с «Приложением А», содержащим программу практической деятельности для русских революционеров.

Те идеи, которые принесли большой ущерб рабочему движению Западной Европы, оказали совсем иное воздействие на русскую жизнь. При социально-экономических условиях, которые существовали в России того времени, при огромном крестьянском населении, угнетенном крепостническими пережитками, бакунизм в той форме, в которой он был воспринят народниками, выражал стремление крестьянства к освобождению.[516]

Разночинная молодежь, рвавшаяся к живому делу, к конкретной борьбе, не могла в этих условиях пройти мимо той революционной программы, которую предлагал Бакунин. Она подхватила ее и, соединив отчасти с мыслями П. Л. Лаврова и с идейным наследством шестидесятников, пошла в народ.

Какова же была эта программа, увлекшая за собой сотни русских юношей и девушек, заставившая их бросить привычный уклад жизни, одеться в крестьянское платье и попытаться слиться с тем не познанным еще народом, во имя освобождения которого отдало жизни не одно поколение русских революционеров?

Программа эта звала оставить науку, которая не может определить будущие формы народной жизни, ибо только сам народ в состоянии выработать их и идти поднимать крестьян на всеобщее народное восстание.

«Народная жизнь, народное развитие, народный прогресс принадлежат исключительно самому народу». В его среде живет идеал, для осуществления которого он и поднимется на социальную революцию.

Идеал этот, считал Бакунин, характеризуется тремя чертами: всенародным убеждением в том, что земля принадлежит народу, правом на пользование землей, принадлежавшей не лицу, а общине, общинным самоуправлением, «решительно враждебным государству».

Однако наряду с этими тремя чертами идеала существуют и три «затемняющие черты»: патриархальность, поглощение лица миром, вера в царя.

Община — это мир крестьянина. «Она не что иное, как естественное расширение его семьи, его рода. Поэтому в ней преобладает то же подлое послушание, а потому и та же коренная несправедливость и то же радикальное отрицание всякого личного права, как и в самой семье. Решения мира, каковы бы они ни были, — закон. „Кто смеет идти против мира?!“ — восклицает с удивлением русский мужик».

Причем каждая община составляет замкнутое целое, не связанное ни с какими другими общинами. В этом видит Бакунин одно из главных несчастий, этим объясняет неудачи и разрозненность всех крестьянских бунтов. «Значит, — делает он вывод, — одною из главных обязанностей революционной молодежи должно быть установление всеми возможными средствами и во что бы то ни стало живой бунтовской связи между разъединенными общинами». Для этого надо идти в народ, «ибо вне народа, вне многомиллионных рабочих масс нет более ни жизни, ни дела, ни будущности».

Надо разбить замкнутость общин, «провести между этими отдельными мирами живой ток революционной мысли, воли и дела. Надо связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей, передовых людей, естественных революционеров из русского крестьянского мира между собой и там, где оно возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством».

Надо, чтобы сама революционная молодежь отныне перестала бы быть свидетельницей и стала бы «деятельной и передовой, себя на гибель обрекшей соучастницей».[517]

Русская молодежь всей внутренней логикой развития революционно-демократического движения была подготовлена к восприятию подобной программы. Русский утопический социализм, ставший идеологией освободительного движения с середины века, с его неременной верой в общинный уклад русской жизни, с его расчетом на революцию как единственный путь освобождения крестьянства был органически воспринят поколением 70-х годов. На этой почве идеи Бакунина о готовности народа к революции и о конкретных и решительных действиях в народе и дали свои плоды.

Но сам Бакунин мало что знал об успехе своей программы. Его связи с Россией были эпизодическими, а «Русское братство» существовало недолго.

В 1873 году наметилась была живая связь с Россией, когда к Бакунину явились сначала Ф. Н. Лермонтов, затем С. Ф. Ковалик и независимо от них В. К. Дебогорий-Мокриевич. Эти участники революционно-народнического движения, сочувствующие анархизму, решили попытаться организовать в России ряд анархических групп.

«На свиданиях с Бакуниным, — пишет Ковалик, — решено было не оглашать его прикосновенности к русскому революционному делу. Руководители русской анархической партии должны были действовать от своего имени, а Бакунин оставаться негласным центром, подобно тому, как это было устроено в Италии и Испании».[518]

Однако массовые аресты среди народников в 1874 году не дали возможности осуществиться и этим планам.

Разногласия в «Русском братстве» начались, как говорили мы выше, вскоре после его образования.

Во время пребывания Михаила Александровича в Цюрихе отношения между братьями как-то сохранялись.

Работа, которой они были заняты в это время, состояла главным образом в издании материалов анархистского толка под названием «Историческое развитие Интернационала» и в ноябре книги Бакунина «Государственность и анархия». Но после отъезда Бакунина неурядицы возобновились с новой силой. Диктаторство Росса и доктринерская бескомпромиссность Ралли неуклонно вели к разрыву эту маленькую группу сторонников Бакунина. Последний пытался объяснить, уговорить, сгладить острые углы.

23 января писал он из Локарно Ралли: «Мой милый Руль, помни всегда, что в революции три четверти фантазии и только одна четверть действительности, или, другими словами, так как вижу отсюда, что ты уже насупился, читая эти первые строки, — жизнь всегда, мой друг, шире доктрины; жизнь никогда нельзя уложить в какую-нибудь доктрину, будь она даже столь всеобъемлюща, как наша анархия... Помни, друг мой, что успехи твои всегда будут неполны и пуританский ригоризм твоих принципов будет причиной не только твоего разрыва с Россом, но и потери тех немногих людей, с которыми можно дело делать... Конечно, без принципов и убеждений нельзя жить и работать, но не нужно забывать того, что они имеют только относительное значение и могут быть применены в известных пределах. На принципах выезжают только наивные люди, которые потому и погибают самым бесплодным образом для живого дела, они, друг мой, и есть то мясо живое, которое раздавливает тяжелая колесница истории. Мы же должны быть трезвыми революционерами, а потому и не должны принадлежать к этой категории людей».[519]

Но мудрые советы Бакунина не помогли. Разрыв между Россом, оставшимся с Бакуниным, с одной стороны, и Ралли, Гольстейном и Эльсницем, с другой, произошел летом 1873 года. Причины разрыва были мелочны, во всем инциденте преобладали взаимная неуступчивость, беспочвенные часто обвинения, интриги. Но так или иначе, а последняя ставка Бакунина на

конкретное участие в русской пропаганде потерпела крах.

Не менее неудачными были и попытки Бакунина в 1872 году привлечь в «Альянс» поляков и других славян. Каждый раз Михаил Александрович приспосабливал отдельные пункты программы «Альянса» к той или иной национальной секции, но социалистический, анархистский смысл ее не менялся. Это последнее обстоятельство не могло увлечь националистически настроенную польскую эмиграцию.

Некоторую роль в неудаче этой попытки сыграло и то, что секретарем польского общества стал шпион и провокатор Адольф Стемповский, выдавший вскоре Нечаева полиции и имевший главной целью своего пребывания в Цюрихе слежку за русской и польской эмиграцией.

При своей увлекающейся натуре, склонный искать положительные, а значит, по его разумению, революционные начала в каждом человеке, высказывавшем деловые революционные склонности, Бакунин, как мы видели выше, часто попадал впросак, включая агентов III отделения в свою орбиту. Так случилось и на этот раз.

Другие славяне, главным образом сербы, учившиеся в Цюрихе, были объединены Бакуниным в отделение «Альянса», принявшего название «славянский завес». Однако они, по словам Ралли, совсем не понимали сути программы и своих задач. «Может быть, ты и прав, — отвечал по этому поводу Бакунин, — хотя я видел наших сербов и вовсе не нахожу, что они так уж из рук вон плохи. Но, положим, что ты прав; так ведь других у нас пока нет, а на нет и суда нет... Секция славянская необходима нам, хотя и такая плохая, какая есть, так она может стать ядром для славянского нашего дела».[520]

Для грандиозных планов «Альянса», конечно, нужны были и славяне и русские, но с распадом «Русского братства» и отходом от бакунинских конспирации Ралли прекратил существование и «славянский завес». Все оставшиеся силы Бакунина отныне и до конца были отданы делам международным и прежде всего итальянским, но сил-то этих было уже не много.

Само постоянное местопребывание Бакунина — Локарно, расположенное в итальянской Швейцарии, было удобно для итальянских революционеров, постоянно наведывавшихся туда за советами и указаниями.

После отъезда семьи Михаил Александрович жил в одном доме с новым своим русским другом В. А. Зайцевым.

Варфоломей Александрович Зайцев — публицист, один из теоретиков русского нигилизма, еще в 1869 году выехал из России. Сначала он жил в Париже, затем в Италии. Вступив в Интернационал, он в 1870–1871 годах создал в Турине итальянскую секцию Международного товарищества рабочих. Осенью 1872 года переехал в Локарно, где и поселился вместе с Бакуниным. Однако бакунистом он не стал, так как скептически относился к революционным возможностям народа. Бакунин не принимал его всерьез как пропагандиста, но ценил его оригинальный ум, энергию, стремление к революционному делу.

Под диктовку Михаила Александровича писал Зайцев его воспоминания (судьба их осталась неизвестной), готовил книгу «Анархия по Прудону», которая должна была издаваться типографией «Братства», и, по свидетельству Ралли, печатал в русском легальном журнале «Испанские письма», сочиняя их, сидя в Локарно, по справочникам и другой литературе.

«— Где ты теперь, Зайцев? — кричит, бывало, Бакунин, стоя у дверей и обращаясь к жителю второго этажа.

— Я теперь приехал, Михаил Александрович, в Севилью и люблюсь красавицей gitano, которая танцует перед нами, путешественниками.

И Бакунин хохочет басом.

А то сойдет со своего этажа Зайцев к нам вниз... и рассказывает нам монотонным голосом, в нос, ...„дела давно минувших дней“ писаревщины на Святой Руси», [521] — писал Ралли, прогостивший как-то неделю у Михаила Александровича.

В январе 1873 года приехал к Бакунину и другой русский публицист, соратник Зайцева по «Русскому слову» — Николай Васильевич Соколов.

В противоположность другим русским, окружавшим Бакунина, как правило молодым, Соколов был человеком зрелого возраста, бурной биографии, сложившихся убеждений. В прошлом офицер, окончивший Академию Генерального штаба, он служил на Кавказе и в Восточной Сибири, писал публицистические статьи по экономическим вопросам для «Русского слова». Выйдя в 1863 году в отставку, он уехал за границу, где бывал и ранее (в 1860 году) у Герцена и Прудона. Пожив у Герцена, объехав еще ряд городов, он принялся за книгу «Социальная революция», которая была издана спустя несколько лет в Берне (1868). Работа эта носила анархистский характер, но была ближе к концепции Прудона, чем к системе взглядов Бакунина. Вернувшись в Россию, он написал еще одну книгу — «Отщепенцы», широко популярную среди молодежи впоследствии. 4 апреля 1866 года, в день выстрела Каракозова, он принес свою книгу в цензурный комитет, а спустя две недели был арестован.

После шестнадцати месяцев заключения в крепости Соколов был выслан. Из Астраханской губернии ему удалось бежать, и в конце 1872 года он появился в Цюрихе, откуда и отправился к Бакунину. Прожил он в Локарно около двух месяцев и оставил впоследствии колоритное описание быта Михаила Александровича.

К этому времени Бакунин уже переменил квартиру и жил в таверне у итальянца Джакомо Фанчола. Несмотря на то, что Соколов явился к нему в 4 часа утра, Бакунин не спал. В комнате царил полный беспорядок. На столе и стульях лежали книги и газеты, самовар стоял посреди пола, а стаканы под кроватью. Пол был усеян пеплом и окурками. Михаил Александрович был нездоров, но радушно встретил гостя, велел растопить камин и приготовить чай.

«— Извини, братец, — сказал он гостю, — я совсем расхворался. Врач приписал мне стрихнин от болей в пояснице. Вот флакон с этой гадостью. Как ты думаешь, помогут мне

эти пилюли?

— Давайте я брошу их в огонь, и вам станет легче. Не стыдно ли, что Вы дожили до седых волос и все еще верите в медицину?

— Ты прав, — сказал Бакунин, — по-моему, всякая болезнь должна идти своим путем и выйти из тела».

На другой день с утра хозяин и гость сели завтракать, причем перед прибором Бакунина лежала груда писем, которые он обычно читал за завтраком. Меню было чисто итальянское, впрочем, в сочетании с бифштексом. Врачи запретили Бакунину мучные и жирные блюда, но он мало считался с этим и после постного куска мят съедал большое количество макарон с маслом и пил вино. После завтрака Михаил Александрович принялся сам готовить кофе, который выходил у него весьма скверно, но критиковать его не полагалось.

— Вот тебе чашка. Пей, — сказал он Соколову. — Хочешь с ромом? Я пью без всего. Ну как тебе нравится вкус? Пивал ли ты где-нибудь такой кофе? Нет, даже в лучших отелях Ниццы не приготовят подобного. Это, брат, мой секрет. ...А теперь я познакомлю тебя с моим распределением дня... Знай же раз навсегда, что к 11 часам утра, как сегодня, я приглашаю тебя к столу. В 1272 часов мы с Зайцевым и другими отправляемся в разные кафе читать газеты, пить пунш, болтать и гулять до 4 часов. Затем я до 8 часов вечера ложусь спать. Пью чай или зельтерскую воду и отправляюсь куда-нибудь до 10 часов. После чего, в продолжение всей ночи, как вчера, я, не раздеваясь, пишу письма. Вот и весь мой день, братец. Как видишь, я веду правильный образ жизни.

Покончив с кофе, Бакунин и Соколов отправились к Зайцеву, причем тут же были окружены толпой мальчишек, приветствующих их возгласами «Да здравствует Мишель!»

Отношения между Михаилом Александровичем и Соколовым установились хотя и дружеские, но с известным ироническим оттенком как с той, так и с другой стороны. Так, Соколов приводит следующие диалоги, которые иногда происходили между ними:

«— Ну чего ты скалишь зубы, животное? — говаривал Бакунин. — Скажи мне и сверни мне папироску!

— А ты, Ирод, — отвечал Соколов, — ведь ты мастодонт, тюлень, как тебя земля до сих пор носит!

— Черт побери всех вас вместе и каждого в отдельности, — продолжал Бакунин, — всех русских!.. Я признаю только моих итальянских друзей. Вы рабы и останетесь рабами с вашим царем».[522]

Из итальянских друзей в 1872 году Бакунин наиболее близко сошелся с Карло Кафиеро. Это был человек чуткий, нервный, порывистый, преданный революционному делу. Происходил он из богатой, аристократической итальянской семьи. Закончив в 1870 году юридическое образование, он отправился в Англию для изучения философии, но здесь неожиданно интересы его приобрели совсем иное направление: он занялся рабочим вопросом и с этого

времени целиком ушел в проблемы освобождения угнетенного большинства человечества.

Вступив в 1871 году в Интернационал, он познакомился с Энгельсом и, уехав затем в Италию, поддерживал переписку с ним. Одновременно его заинтересовала и система взглядов Бакунина, о котором он много слышал от своих итальянских друзей.

В мае 1872 года Кафиеро приехал в Локарно для личного знакомства со знаменитым анархистом. Идеи Бакунина при эмоциональном и живом способе их выражения захватили Кафиеро. После нескольких дней и ночей, проведенных в непрерывных разговорах, он целиком и полностью принял платформу своего нового учителя и друга.

Проведя почти месяц в Локарно и условившись с Фанелли и Бакуниным о подготовке революционных акций, Кафиеро уехал в Италию.

В лице нового прозелита итальянское социалистическое анархистское движение приобретало не только верного и преданного борца, но и крупные денежные суммы, так как Кафиеро был человеком состоятельным. Одним из пунктов плана, выработанного совместно с Бакуниным, было приобретение на имя Бакунина виллы вблизи Локарно, которая стала бы постоянным местом для тайных встреч и укрытия итальянских революционеров, а также складом оружия и приютом для тайной типографии. Там же и должен был разместиться Бакунин со своей семьей, которая собиралась вернуться из России.

Приобретение собственности на имя Бакунина было мерой весьма своевременной, так как швейцарское правительство, обеспокоенное его деятельностью на итальянской границе, собиралось переселить его во внутренние кантоны или вовсе выдворить из страны. Положение же владельца недвижимой собственности устраняло эти угрозы.

В августе 1873 года вилла «Бароната» была приобретена. Она состояла из небольшого двухэтажного дома, старого виноградника и огорода, в котором было несколько грядок овощей. Весь участок расположен был по склону горы, спускавшейся к озеру Лаго-Маджоре. В нижнем этаже дома помещалась кухня, столовая и две комнаты для приезжих, наверху еще две комнаты, в одной из которых поселился Михаил Александрович, в другой — Кафиеро и его жена Олимпиада Кутузова, младшая сестра жены Варфоломея Зайцева.

Дом, конечно, был мал для планов Бакунина и Кафиеро. Бакунин стоял за более дешевый план его реконструкции — пристройки двух больших комнат, но Кафиеро настоял на строительстве нового большого дома в верхней части участка. Приглашенный для этой цели подрядчик составил совершенно несуразную смету, но оба революционера, лишенные какого-либо практического смысла, доверились ему. Результат строительства был весьма плачевен и привел к полному разорению Кафиеро. Но первое время все еще шло благополучно.

«В те времена, — писал потом Бакунин, — я питал безграничную веру в Кафиеро, которого сам любил от всей души. Со времени нашей первой встречи весной 1872 года он проявлял по отношению ко мне безмерную, почти сыновнюю нежность».[523]

«Отношения М. А. Бакунина и Кафиеро были самые близкие и дружеские, — пишет Олимпиада Кафиеро. — Любя до поклонения Михаила Александровича, Кафиеро был безгранично предан ему, заменяя для него сестру милосердия, няньку, ухаживал за ним, как за ребенком.

В то время Бакунин уже начал хворать — не мог без посторонней помощи вставать по утрам. Каждый день по утрам слышался по всему дому громкий призыв: „Карло! Карло!“, и Кафиеро, где бы он ни был, чем бы он ни был занят, оставлял все и бежал на этот зов. И пока Карло не разотрет онемевшей руки или спины, боли в которой не давали Мих. Алекс, покоя, Бакунин не мог встать с постели».[524]

Помимо искренних забот о здоровье Бакунина, Кафиеро руководствовался необходимостью создать видимость буржуазного быта для конспиративного прикрытия истинного положения дел. Поэтому он заставил Бакунина сшить себе приличное платье и приобрести экипаж — старую подержанную коляску — и не менее старую лошадь. Бакунин, хотя и не без сопротивления, соглашался на все это. Он позволял руководить своей жизнью потому, что устал от борьбы и разочаровался во многом.

Скептицизм впервые овладел им после неудачи лионского восстания. События 1873 года в Испании углубили тяжелый кризис его взглядов.

Буржуазная революция в Испании началась в сентябре 1868 года. После того как королева Изабелла бежала из страны, власть захватили представители крупной финансовой и торговой буржуазии и либеральных помещиков. Народное движение не прекращалось. 11 февраля 1873 года кортесы под давлением народных масс провозгласили республику. Политическая власть перешла к буржуазным кругам, выступившим под лозунгом создания федерации. Были назначены выборы в Учредительное собрание. Монархисты бойкотировали эти выборы. Бакунисты, приняв деятельное участие в предвыборной борьбе, пытались захватить власть в ряде городов. Но в тех случаях, когда их действия приводили к временному успеху, они благодаря отсутствию организации, отрицанию необходимости революционной власти и политических форм борьбы быстро терпели поражение, «...бакунисты дали нам в Испании неподражаемый образчик того, как не следует делать революцию»[525] — так совершенно справедливо оценил Энгельс эти действия испанских анархистов.

Летом 1873 года, в разгар испанских событий, Бакунин еще полон был надежд на возможный успех движения и, как вселда, стремился принять в нем личное участие. За деньгами на дорогу он обратился к единственному возможному источнику — Кафиеро, прося его к тому же в случае своей гибели позаботиться о его семье. Высказав безусловную готовность все сделать для семьи Михаила Александровича, Кафиеро в то же время отказал в деньгах на испанское предприятие, так как считал, что силы Бакунина ограничены и для практических акций, тем более в Испании, а не Италии, он уже не подходит.

Последовавший затем трагический конец испанской революции[526] нанес Бакунину еще один страшный удар. Поражение ее он приписывал «отсутствию энергии и революционной страсти как у вождей, так и у масс», а ведь именно эти черты должны были бы, по его

мысли, обеспечить успех движения.

Реакция, господствовавшая в Европе, не давала более возможности надеяться на революционный взрыв нигде, кроме Италии, которая одна еще, по мнению Бакунина, «являла некоторые симптомы революционного пробуждения».

Все эти обстоятельства и заставили Бакунина согласиться на предложение Кафиеро воздерживаться отныне от всяких активных революционных выступлений, оставаясь в то же время деятельным и скрытым и хорошо замаскированным центром перманентного интернационального заговора. Однако согласие свое на этот план Бакунин дал не без внутренней борьбы. «Я соглашался с Кафиеро в том, что состояние моего здоровья, моя отяжелелость, болезнь сердца и связанная с нею окоченелость членов и движений делают меня мало способным к авантюристическим предприятиям, для которых прежде всего требуются физическая сила, гибкость и испытанная подвижность. Но я всегда отстаивал свой долг и свое право броситься во всякое революционное движение... и всегда чувствовал и думал, что наиболее желанным для меня концом была бы смерть посреди великой революционной бури».[527]

Так или иначе, а предложение Кафиеро было принято. Оба революционера решили также, что для пущей конспирации Бакунин публично откажется от революционной деятельности и «уйдет в частную жизнь». Повод для такого публичного отказа вскоре представился.

В то время как Бакунин находился в Берне, куда поехал к А. Фохту посоветоваться насчет своего здоровья, вышла брошюра Генерального совета Интернационала «Альянс социалистической демократии», разоблачающая характер деятельности этого союза и наносящая удар по его организатору.

Ответ Бакунина, опубликованный в газете «Journal de Genève», поразил всех его друзей и врагов. Назвав клеветой все обвинения, выдвинутые против него, он неожиданно заявлял, что все последние события возбудили в нем «глубокое отвращение к общественной жизни. С меня этого довольно, и я, проводивший всю жизнь в борьбе, я от нее устал. Мне больше шестидесяти лет, и болезнь сердца, ухудшающаяся с годами, делает мне жизнь все труднее. Пусть возьмутся за работу другие, более молодые, я же не чувствую в себе уже нужных сил, а может, и нужной веры, чтобы продолжать катить Сизифов камень против повсюду торжествующей реакции.

Поэтому я удаляюсь с арены борьбы и требую у моих милых современников только одного — забвения. Отныне я не нарушу ничьего покоя, пусть же и меня оставят в покое».[528]

Вслед за этим официальным отречением последовало и другое, в котором Бакунин обращался «с прощальным словом» к своим единомышленникам.

В письме этом, опубликованном в «Бюллетене Юрской федерации», он мотивировал свой уход «не личными неприятностями», а своей непригодностью к борьбе на настоящем этапе. «Теперь — время не идей, а действий и фактов. Теперь важнее всего — организовать силы пролетариата. Но эта организация должна быть делом самого пролетариата. Если бы я был молод, я бы вошел в рабочую среду и, разделяя трудовую жизнь моих собратьев, я вместе с

ними принял бы также участие по этой необходимой организации.

Но мой возраст и мое здоровье не позволяют мне сделать это... Морально я чувствую себя еще достаточно сильным, но физически я сейчас же устаю и не чувствую в себе уже нужных сил для борьбы. Поэтому в лагере пролетариата я был бы только лишним грузом, а не помощником».[529]

Несмотря на то, что отказ от дальнейшей борьбы был лишь формальным, однако значительная доля искренности в нем была. Да и можно ли было упрекать человека, прожившего столь бурную и самоотверженную жизнь, в том, что он в конце ее устал и во многом разочаровался? Однако именно к подобным упрекам обратились в конечном итоге его друзья. Разрыв с ними был последним ударом для Михаила Александровича.

В Берне Бакунин провел сентябрь и октябрь 1873 года. Здесь он встретился со старым приятелем П. В. Анненковым, который в письме к И. С. Тургеневу так рассказал о вынесенном им впечатлении: «Громадная масса жира, с головой пьяного Юпитера, растрепанной, точно она ночь в русском кабаке провела, — вот что предстало мне в Берне под именем Бакунина. Это грандиозно, и это жалко, как вид колоссального здания после пожара. Но когда эта руина заговорила и преимущественно о России и что с ней будет, то опять явился старый добрейший фантаст, оратор-романтик, милейший и увлекательный сомнамбул, ничего не знающий и только показывающий, как он умеет ходить по перекладам, крышам и карнизам».

В октябре Бакунин вернулся в «Баронату» и застал там полнейший беспорядок. «Я нашел там, — писал он, — святое семейство Набруци,[530] его мать, его и одну девицу, которую очень трудно определить; сверх того, двух испанцев, одного из моих итальянских друзей и Фанелли. Текущие расходы, благодаря хозяйничанию святого семейства, были громадны. Я содрогнулся».

Началось строительство нового дома, но произведенные работы оказались непригодными. Денег же было истрачено 50 тысяч франков. Кафиеро в это время отсутствовал. Он уехал в Россию вслед за своей гражданской женой Олимпиадой Кутузовой, которая, выехав ранее навестить свою мать, была задержана полицией, не выпускавшей ее из их имения, расположенного в Тверской губернии. Обвенчавшись с ней и освободив ее таким образом из-под опеки русских властей, Кафиеро вместе с женой летом 1874 года вернулся в «Баронату».

К этому времени хаос, царивший там, и полное расстройство денежных дел достигли предела. Ко всему тому накануне приезда Кафиеро прибыла из Сибири и Антонина Ксаверьевна с тремя детьми и стариком отцом.

Кафиеро сам не раз настаивал на вызове семьи Бакунина, обещая обеспечить как содержание их, так и будущность детей. Но все расчеты свои строил он на неверной оценке своего состояния, которое незадолго до того получил в наследство. Вернувшись из России, убедился, что денежные дела его далеко не блестящи.

Антонина Ксаверьевна, не зная истинного положения дел, ехала с надеждой на обеспеченную жизнь в доме, принадлежавшем, как она считала, ее мужу.

Находившийся там в это время Арман Росс так не беспристрастно описал обстоятельства ее появления: «Жена Бакунина никакого участия в революционных делах не принимала, и он не посвящал ее в эти дела. Нельзя сказать, чтобы она к ним была совершенно индифферентна, нет, она была скорее враждебна к ним и только под влиянием его постоянно себя сдерживала. Все мы хорошо это знали, знали также и то, что детей у Бакунина не было, что настоящим отцом детей был Гамбуцци, неаполитанский адвокат, с которым она после смерти Бакунина повенчалась... Для нас она была совершенно чужим человеком. И вот этот-то чужой человек внезапно врывается в нашу среду и заявляет нам, что „Бароната“ со всем, что в ней есть, принадлежит ей, что она хозяйка, а все остальные — пришлые, посторонние люди, и что она терпит их присутствие здесь только из уважения и снисхождения к своему старому мужу».[531] Возможно, что Антонина Ксаверьевна и сказала что-то подобное, но в целом в своем отношении к семье Бакунина, а значит и к нему самому, Росс был глубоко не прав. Объяснить отношение Михаила Александровича к семье с точки зрения формальных обстоятельств, игнорируя сферу чувств, было невозможно. Рациональный ум Росса не мог постигнуть привязанности, любви и заботы Бакунина об Антосе и ее детях. Не мог он понять также, что для внутреннего спокойствия и работы Михаилу Александровичу нужно было быть уверенным в том, что близкие ему люди не терпят нужды.

Занявшись делами «Баронаты» и увидев степень расстройства денежных дел Кафиеро, Росс не смог понять и того, что Бакунин в этой истории оказался лишь жертвой весьма неудачного практического плана, навязанного ему его итальянским другом.

Не везло Бакунину в дружбе. Холодные и расчетливые или пылкие и чувственные друзья рано или поздно отходили от него, причем нередко его разрывы с ними принимали резкие, оскорбительные для него формы. Происходило это в молодые годы часто по его вине. Будучи интеллектуально выше и во много раз одареннее многих его окружающих, стремясь к одной главной дальней цели, он не понимал часто тех или иных обстоятельств повседневной жизни: не всегда был внимателен, не всегда мог идти на компромиссы, необходимые в человеческих отношениях (хотя учил этому других); проявляя недостаточное чувство такта, он вмешивался порой в чужую жизнь, навязывая ту или иную точку зрения. С годами недостатки эти в значительной мере сгладились, но появились болезни, усталость, заботы о семье, желание не одной идейной близости, но и человеческой теплоты отношений.

Молодые же люди, окружавшие его, исходили, как правило, из одних лишь утилитарно-революционных соображений. «Старик», как звали они Бакунина, нужен был им для дела. И в той мере, в какой он был нужен, они и использовали его авторитет, его мысли, его энергию. Именно этот стиль отношений и обусловил его последний разрыв с молодыми друзьями.

С той же пылкостью, с которой сначала Кафиеро ухаживал за Бакуниным, обратился он против него. «Теперь, — писал Бакунин, — он, кажется, дошел до того, что смотрит на меня,

как на ненужную старую тряпку, которую следует выбросить вон. Он думает, что ошибся тогда, как ошибается и теперь. Я никогда не был драгоценен, как ему угодно было думать год тому назад, и не так бесполезен, как он думает теперь».[532]

После объяснения Бакунина с Кафиеро, состоявшегося 15 июля 1874 года, положение для Михаила Александровича создалось невыносимое. Крушение надежд на успех движения, крушение дружбы, подозрительность и оскорбительный тон недавних соратников, отсутствие всякой возможности обеспечить кров и пищу многочисленной теперь семье, им же вызванной из России, — все это, сразу обрушившееся на старого, измученного болезнями человека, привело его к мысли о смерти. Единственное, что задерживало его, была семья, которую он не мог оставить без всяких средств. В этих условиях «я имел еще слабость принять от него (Кафиеро) обещание обеспечить тем или иным способом участь моей семьи после моей смерти».

В дневнике под датами «15 среда — 25-го суббота» запись: «Душевные муки. Кафиеро все более злобится. Росс все более разоблачается... Вечером 25-го я составил акт об уступке „Баронаты“ Карлу (Кафиеро)... и решил выехать в Болонью».[533]

Выехав 27 июля, Бакунин на другой день прибыл в Шплюген. Здесь в течение двух дней он писал «Оправдательную записку», цитированную нами выше в связи с историей с «Баронатой».

Документ этот предназначался для Кафиеро, Беллерио и Антонины Ксаверьевны. Заканчивал его Бакунин следующим образом: «Я ничего больше не должен принимать от Кафиеро, даже его забот о моей семье после моей смерти. Я не должен, не хочу больше обманывать Антонию, а ее достоинство и гордость подскажут, как ей надлежит поступить... К тому же я сделал все, что мог, чтобы обеспечить, по крайней мере частично, судьбу ее семейства. Я написал письмо, последнее прости моим братьям, которые, впрочем, никогда не отрицали моего права на долю в общем имении и которые всегда меня просили прислать к ним для реализации этой доли человека... До настоящего времени я не находил такого человека. Теперь, в прилагаемых при сем письмах, я даю эти полномочия Софии, сестре Антонии. Я не мог бы передать их в лучшие руки...

А теперь, друзья мои, мне остается только ухмереть. Прощайте!

Эмилио (Беллерио), старый и верный друг мой, спасибо тебе за твою дружбу ко мне и за все, что ты сделаешь для моих близких после моей смерти. Прошу тебя, помоги Антонии переехать, что ей придется, думаю, сделать безотлагательно...

Антония, не проклинай меня, прости меня. Я умру, благословляя тебя и наших дорогих детей».[534]

Подготовка к восстанию в Италии велась все последние месяцы жизни Бакунина в «Баронате». «К нам часто приезжали Коста, Малатеста и другие итальянцы. Бакунин, конечно, принимал самое горячее участие во всем этом деле», — сообщает Росс. Во главе движения стояли альянсисты, именовавшие себя «Итальянским комитетом социальной революции». Наиболее активную роль в этой тайной организации играл двадцатилетний

студент Андреа Коста, еще осенью 1873 года живший вместе с Фанелли в «Баронате», когда, очевидно, и был разработан план выступления.

Влияние Бакунина в эти годы на итальянскую революционную молодежь было велико. Ралли пишет, что он стал «для итальянских социалистов настоящим апостолом нового учения и от Милана и Болоньи до Неаполя он был известен под именем Santo Maestro (святого учителя). Итальянская молодежь, нервный и увлекающийся итальянский рабочий, которые когда-то шли умирать под знаменем Гарибальди, вкусив от плода, созревшего в продолжение двадцати лет национальной независимости, познали, наконец, всю горечь обманутых иллюзий и стали толпами переходить в ряды социалистов-революционеров.

Главные деятели этого движения в Италии были ученики и прозелиты Михаила Александровича».[535]

А. Баул ер (Вебер) — участница русского освободительного движения, жившая в то время в Италии и хорошо знавшая Бакунина в последние годы, следующим образом пыталась объяснить причины его влияния: «В чем, собственно, состояли чары Бакунина? Точно этого определить, думаю, мне, невозможно, потому что самое верное определение будет неясная формула: во всем его существе. Не силой убеждения он действовал, не мысль будил своей мыслью, но поднимал всякое бунтующее сердце, будил стихийную злобу. Она охватывала красотой, становилась творческой и рисовала экзальтированной жажде справедливости, счастья исход, возможность достижения. „Страсть к разрушению есть творческая страсть“, — повторял Бакунин до конца жизни. Не в этой ли формуле надо искать разгадку его обаяния?»[536]

Ко времени намеченного Бакуниным и его друзьями восстания, летом 1874 года, вся Италия находилась в состоянии брожения. Неурожай предшествующего года, поднятие цен на продукты и упадок заработной платы — все это вызывало рост недовольства рабочих и выступления крестьян. «Комитет социальной революции» нашел время подходящим для организации революционных выступлений сразу в нескольких местах страны.

3 августа 1874 года во Флоренции, Болонье, Неаполе, Равенне, Кремоне и некоторых других городах было распространено воззвание, призывающее к восстанию:

«Первый долг раба — восстать.

Первый долг солдата — дезертировать.

Пролетарии, подымайтесь!

Солдаты, дезертируйте! Оружие, которое ваши господа дали вам в руки для того, чтобы вы убивали нас, обращайтесь против них.

Это наше последнее слово, и скоро события подкрепят его. Горячо приветствуем тебя, заря нашего Избавления!»[537]

Предполагалось, что выступление произойдет в Болонье, куда и направился теперь Бакунин для личного участия в восстании, надеясь не столько на его успех, сколько на возможность смерти на баррикадах. Однако и такой выход оказался недостижимым для него.

В ночь на 7 августа повстанцы, числом около 3 тысяч, собранные и вооруженные вблизи, на Капрарской равнине, должны были войти в город, в то время как другая колонна восставших должна была захватить арсенал.

В ряде условных пунктов был приготовлен материал для сооружения баррикад.

Однако отряд, расположенный вблизи города и готовый к штурму арсенала, напрасно ждал сигнала к выступлению.

400 человек на Капрарской равнине напрасно ждали присоединения других отрядов.

О существовании революционного заговора полиция узнала заранее. 5 августа начались аресты. На следующий день был схвачен Коста и несколько других руководителей движения. 7-го неизвестный доносчик сообщил полиции о том, что вблизи города собираются вооруженные отряды. Немедленно в эти районы были направлены войска. Отряд повстанцев из Имолы оказался окруженным.

Те, что ждали на Капрарской равнине, не получив ни подкрепления, ни сигнала к восстанию, к утру разошлись.

Болонский префект граф Капитэлли, узнав о событиях лишь ночью, приказал запереть все городские ворота и произвести до сотни арестов.

Бакунин, надеясь на возможность возглавить восставших в уличных боях, напрасно ждал сообщения о начале сражения.

Вот что он записывал в своем дневнике. «Неудача.

Страшная ночь с 7-го на 8-ое [августа]. Револьвера Смерть под рукой. Приходят один за другим Л., Сильвио, Берарди, Нья... Остался один с 3 до 4. В 4 смерть... В 3 ч. 40 м. утра является Сильвио и не дает мне умереть».[538]

Через несколько дней в костюме деревенского священника, в больших очках, с палкой и для пущей конспирации с корзиной, полной яиц, в руках, он покинул Болонью.

Приехав в Шплюген, Бакунин телеграфировал в «Баронату» и стал ждать Кафиеро для решения вопроса о дальнейших революционных акциях. Однако ожидания его были напрасны, вместо Кафиеро явился Росс, передавший, что в Италии делать больше нечего.

Запись Бакунина в дневнике 21 августа: «Приезжает Росс, остервенелый и фальшивый как каналья. Натта после обеда уезжает в Локарно. Я остаюсь наедине с г-ном Россом. 22-го суббота. Росс крайне раздосадован. Он уезжает после обеда. Я снова один».[539]

Бакунин продолжает настаивать на личном свидании с Кафиеро. Тот, наконец, соглашается и назначает местом встречи Сиерру. По пути он заезжает в Невшатель, встречается с Гильомом и по-своему информирует его о конфликте с Бакуниным.

Гильом пишет: «Мы: Швицгебель и я, объявили Кафиеро и Росса правыми; приходилось признать, что Бакунин уже не тот человек, каким он был прежде, и, что, говоря о своей старости, усталости, разочаровании и утомлении, он высказал печальную истину».

Встреча с Кафиеро состоялась 30 августа. Разговор, по словам Бакунина, «был чисто политический», обе стороны были «холодны как лед». «Я заявил им, что... принял бесповоротное решение окончательно удалиться от политической жизни и деятельности, как явной, так и тайной, и отдаться исключительно семейной жизни и личным делам... Отклонив, как и следовало, предложенную мне пенсию, попросил у него заимообразно пять тысяч франков с уплатой в два года и из 6 %. Он весьма любезно согласился на это».

На этот раз отказ от деятельности был искренним и полным. И не интриги друзей, не болезни и безденежье были тому причиной. Он просто потерял веру в необходимость тех форм революционной деятельности, которым посвятил всю жизнь. Ставка на близкую социальную революцию обуславливалась уверенностью в готовности народа к революции. Но уже весной 1874 года он понял, что «в данное время народные массы не хотят социализма».[540] Еще несколько месяцев он продолжал в силу инерции, в силу временных иллюзий и, наконец, в силу обстоятельств действовать в прежнем направлении, но теперь, после болонской попытки, после последнего разрыва с соратниками и фактического отстранения его от революционных дел, не было более нужды «катить Сизифов камень против всюду торжествующей реакции».

Перестал ли он быть революционером? Нет.

По-прежнему единственный путь освобождения народа видел он в социальной революции. Здравая же оценка положения дел в Европе, убеждение в неготовности народа к осуществлению идеала анархии свидетельствовали лишь о большом мужестве человека, сумевшего накануне смерти сжечь те идолы, которым он поклонялся всю жизнь.

Моральным категориям, никогда, впрочем, и ранее не отвергавшимся им, придавал он теперь первостепенное значение. «Пойми же ты наконец», — писал он Россу 21 октября 1874 года, — что «на иезуитском мошенничестве ничего живого, крепкого не построишь, что революционная деятельность, ради самого успеха своего дела, должна искать опоры не в подлых и низких страстях и что без высшего, разумеется, человеческого идеала никакая революция не восторжествует».[541]

Поселившись теперь в Лугано, в ноябре 1874 года Бакунин писал уехавшему жить в Лондон Огареву: «Я также, мой старый друг, удалился, и на этот раз удалился решительно и окончательно, от всякой практической деятельности, от всякой связи для практических предприятий. Во-первых, потому, что настоящее время для таких предприятий решительно неудобно; бисмаркианизм, т. е. военщина, полиция и финансовая монополия, совокупленные в одну систему, носящую имя новейшего государства, торжествуют повсюду... Не говори,

чтобы в настоящее время нечего было делать; но это новое дело требует нового метода, а главное — свежих молодых сил, и я чувствую, что я для новой борьбы не гоюсь, а потому и подал в отставку... Здоровье мое становится все плоше и плоше, так что к новым революционным попыткам и передрягам я стал решительно не способен».[542]

Еще более определенно высказал свое настроение Бакунин год спустя, в письме к Элизе Реклю 15 февраля 1875 года. Он писал: «Я согласен с тобою, что время революции прошло не по причине ужасных катастроф, свидетелями которых мы были, и страшных поражений, жертвами которых мы оказались, но потому, что я, к моему великому отчаянию, констатировал и каждый день снова констатирую, что в массах решительно нет революционной мысли, надежды и страсти, а когда их нет, то можно хлопотать сколько угодно, а толку никакого не будет... Я окончательно отказался от борьбы и проведу остаток дней моих в созерцании — не праздном, а, напротив, умственно очень действенном, которое, как я надеюсь, даст что-нибудь полезное.

Одна из страстей, владеющих мной в данное время, это колоссальная любознательность. Раз вынужденный признать, что зло восторжествовало и что я не в силах помешать этому, я принялся изучать его эволюцию и развитие с почти научною, совершенно объективною страстью».[543]

Замечательная формулировка: «объективная страсть»! Даже и теперь этот неуемный человек, в столь многом разуверившийся, не мог быть бесстрастным.

Бакунин много читал в эти последние годы. Его настольными книгами, судя по его словам из письма к Огареву, были: «Автобиография Джона Стюарта Милля», «История человеческой культуры» Кольба и сочинения Шопенгауэра.

Вся комната его была завалена газетами всех политических направлений. Он поддерживал переписку теперь лишь с некоторыми друзьями, пытался писать свои мемуары и вторую часть книги «Государственность и анархия».[544]

Попытался он на этот раз действительно наладить какой-либо прочный быт для семьи. В надежде на получение своей части наследства из России, куда поехала для оформления дел сестра Антонины Софья Лозовская, он в долг приобрел в Лугано виллу с участком земли, на котором решил завести огород. На это неожиданное увлечение ушел целый год. Прочтя много сельскохозяйственной литературы, он решил все делать на научной основе. Для начала были вырублены все деревья и выкопано множество ям, в которые предполагалось насыпать удобрения. Посещавшая его в это время А. В. Баулер рассказывает, как Михаил Александрович решил сеять огурцы и непременно укроп. Жена его возражала, уверяя, и не без оснований, что в этом саду никогда ничего, кроме ям, не будет.

«— Ямы специально для лягушек, — сказал Бакунин, — до смерти люблю их кваканье. Удивительно музыкальное животное. Жили в русской деревне? — обратился он к Баулер. — Что может быть лучше русского летнего вечера, когда в прудах лягушки задают свой концерт?

Он опустил голову, ...печаль подернула лицо и тенью легла вокруг губ».

Видимо, тоска по России была одним из самых сильных его чувств последние два года. Баулер пишет, как он много вспоминал о жизни в Премухине и заставлял ее рассказывать «про деревню». Причем его интересовали не характеристики людей или изменившиеся с тех пор нравы, а главным образом картины русской природы. Иногда он спрашивал, точно сам вспоминал что-нибудь и хотел ярче вызвать в себе воспоминание: «А было у вас в деревне лесное болото?» Или говорил: «Расскажи-ка, какой у вас был фруктовый сад». Если мой набросок картинки русской природы мне удавался, М. А. через день-другой заставлял меня повторить рассказ. «Ну-ка расскажи еще про заливные луга».

Как-то раз в общей беседе речь зашла о смерти. Присутствовавший здесь итальянец профессор Ч. Педерцолли сказал, что смерть страшна для всякого. «Смерть? — воскликнул Бакунин. — Она мне улыбается».

Затем, перейдя на русский язык и обращаясь к Баулер, добавил: «Знаете, у меня была сестра. Умирая, она сказала мне: „Ах, Мишель, как хорошо умирать! Так хорошо можно вытянуться...“ Не правда ли, это самое лучшее, что можно сказать про смерть?»[545]

Бывший член Парижской коммуны Артур Арну, живший тогда в Лугано, рассказывает, как однажды Бакунин пришел к нему веселый и радостный. На вопрос о причинах его хорошего настроения он ответил:

«— По дороге я выплюнул один из моих последних зубов!

— И от этого Вы сияете?

— Еще одна частица моего „я“ исчезла, — ответил он с гордым и верховным презрением к жизни и смерти».[546]

А. Арну и А. Вебер оставили в своих воспоминаниях последние описания внешности и быта Бакунина.

Быт Бакунина был, по существу, тот же, что и всегда. Поношенность его платья, крайняя бедность обстановки, его окружающей, минимальность его личных потребностей всегда отмечались теми, кто что-либо писал о нем. «Одет он был всегда в одно и то же весьма истасканное платье, — свидетельствует Вебер, — ел едва достаточную пищу, даже постели удобной у него не было: на его узенькой железной кровати с трудом умещалось ею громадное тело. Она была ему коротка, вся шаталась и скрипела, а большой старый платок, служивший одеялом, покрывал его еле-еле. Единственной его роскошью был табак и чай. Курил он целый день, не переставая, и целую ночь с небольшими перерывами сна, когда боли давали спать».[547]

Прежние друзья, столь несправедливо поступившие со своим учителем, помирились с ним. Кафиеро, которому Бакунин простил все обиды, приезжал вместе с женой проститься с ним перед отъездом Олимпиады в Россию. Бывал в Лугано и Росс, и хотя Бакунин беседовал и переписывался с ним, но теплого чувства к нему уже не возникло вновь.

Потеряв старых друзей, Бакунин нашел новых в лице простых рабочих, живших в Лугано.

«Так велико было обаяние его удивительной личности до последнего часа его жизни, — пишет Баулер, — что в небольшой группе итальянских анархистов-изгнанников, простых сапожников, угольщиков и цирюльников Бакунин имел не только друзей, но и обожавших его сыновей.

Ежедневно сапожник Андреа Сентадреа после тяжелой дневной работы приходил на виллу укладывать М. А. в постель и, сделав все нужные манипуляции, сидел с ним до глубокой ночи. Утром приходил Филиппо Мауцоти. Были и другие сидельцы-добровольцы...

Все эти люди, едва жившие на свои ничтожные гроши, не только не получали никакой платы от Бакунина, но часто на собственные деньги покупали для него какие-нибудь нехитрые лакомства».[548]

До последнего времени жизнь не переставала испытывать силы Бакунина. Новое несчастье обрушилось на него, когда выяснилось, что денег, полученных, наконец, из Премухина, не хватит не только на обеспечение семьи, но и на оплату стоимости виллы.

Накануне смерти тяжело больной старый человек, обремененный семьей, снова оказывался без крыши над головой. На семейном совете было решено попробовать перебраться в Неаполь, если итальянские власти разрешат это. Пока же Михаил Александрович направился в Берн к старому другу Фохту, чтобы посоветоваться относительно своих болезней. Хроническое воспаление почек, ревматизм, склероз и гипертрофия сердца, осложненная водянкой, делали его положение крайне тяжелым. Выехал он из Лугано 9 июня 1876 года.

На бернском вокзале его ждал Фохт.

«Я приехал в Берн, — сказал Бакунин другу, — для того, чтобы ты поставил меня на ноги или же закрыл мне глаза».

В клинику, куда положил его Фохт, пришла старая приятельница — Мария Каспаровна Рейхель.

«Маша, я приехал сюда умирать» — так приветствовал ее Михаил Александрович. Лечение в клинике Фохта первое время несколько облегчило страдания Бакунина.

15 июня он смог навестить Рейхелей. Попросил поиграть ему на фортепьяно. В разговоре на замечание Рейхеля о том, что он так и не написал своих воспоминаний, Михаил Александрович ответил:

«— Скажи-ка на милость, для кого я стал бы их писать?.. Теперь все народы утратили революционный инстинкт. Все они слишком довольны своим положением, а страх потерять и то, что у них есть, делает их смиренными и инертными. Нет, если я поправлюсь, то я, пожалуй, напишу этику, основанную на принципах коллективизма, без философских и религиозных фраз».[549]

Очевидно, в тот же день написал Бакунин письмо, подписанное шифром (2) и адресованное, по-видимому, Ралли.

«Что же делать? Ждать. Ждать, что, может быть, обстоятельства Европы сложатся круче, т. е. совокупности экономических и политических условий. Индивидуальная же деятельность, организаторская, агитаторская бессильны ни приблизить, ни изменить ничего... Наш... час не пришел».[550]

Так в конце жизненного пути больной и старый человек не увидел революционной энергии масс, которая была очевидна для каждого, кто умел смотреть и видеть.

Начиная с 22 июня состояние Михаила Александровича резко ухудшается с каждым днем. Он почти перестал есть и пить. Когда 29-го Рейхель пытался заставить его выпить бульон, он ответил: «Подумайте, что вы делаете со мной, заставляя меня есть. Я знаю, чего хочу». Но в то же время он согласился съесть несколько ложек гречневой каши, приготовленной Марией Каспаровной. «Каша — это другое дело», — сказал он. Последние дни он часто терял сознание. Смерть наступила в 12 часов дня 1 июля 1876 года.

«Бакунин умер, как и жил, — дельным человеком, — писал Рейхель. — В продолжение всей своей жизни он выступал тем, чем был, без фраз и без притворства, и умер он также с полным сознанием самого себя и своего положения. В общем он казался мне утомленным жизнью. Он составил себе правильное суждение о современном мире и, сознавая, что ему не хватает нужного материала для свойственной ему деятельности, он без сожаления смежил свои очи».[551]

3 июля социалисты разных стран хоронили Бакунина. На его могиле звучали речи немцев, русских, швейцарцев, французов.

Корреспонденция о похоронах, помещенная в газете. «Вперед» от 15 июля 1876 года, сообщала, что известие о смерти знаменитого агитатора застало всех врасплох. «Если бы хотели известить все страны и местности, по которым Бакунин оставил след своей жизни, своего влияния, пришлось бы сзывать целый мир. Дрезден, Прага, Париж, Лион, Лондон, Стокгольм, Италия, Испания должны бы явиться на похороны того, кто вошел в их историю, не говоря уже о нашей родине, где столько друзей и врагов, столько хвалителей и порицателей было пробуждено к общественной жизни или вызвано к деятельности словом и делом, истинами и парадоксами этого всемирного агитатора.

В действительности успела собраться небольшая кучка, человек в 50. Тут были друзья, подавленные горем. Тут были люди, делившие с Бакуниным опасности в разное время, в разных местностях. Была и молодежь, для которой это был учитель. Были люди, не разделявшие его мнений, стоявшие в противном лагере... Но в эту минуту... все это было неразлично. Была лишь одна группа людей, которая хоронила историческую силу, представителя полувекового революционного движения».